Большое значение в формировании активной, творческой, патриотически настроенной личности имеет экскурс в историческое прошлое. Наша газета на протяжении многих лет занимается разработкой этой темы, сознавая, что проблема сохранения исторических традиций, это не только сохранение дворцов, памятников, парков, это еще и сохранение памяти о событиях, духовной атмосфере прошлого, как историко-культурного наследия.

С нашим краем связана жизнь известного писателя-эмигранта Романа Борисовича Гуля. Отец писателя – Борис Карлович Гуль – до революции владел имением в с. Конопать, куда в детские и юношеские годы часто приезжал из Пензы с родителями Роман Гуль. О своих впечатлениях писатель рассказывает в автобиографическом романе «Конь рыжий», выдержки откуда были приведены при описании событий, произошедших в селе Евлашево в 1917 году (Газета «Призыв» от 16.10.2015 «Будкин - солдат революции», «Погром имения»). Сегодня мы продолжаем знакомить с творчеством нашего земляка, писателя - публикуем выдержки из второй части книги «Конь рыжий» под заголовком «Это родина моя», потому что название вытекает из содержания самого отрывка.

ЛЕТНИЙ ДЕНЬ В ИМЕНИИ

Именье отца Конопать раскидывалось по холмам. К усадьбе шла малоезжая дорога, на лесной опушке стоял бревенчатый дом с резными карнизами и коньками и с широченным балконом, с которого виднелось лоскутное одеяло полей, а всем своим тылом дом

выходил в шум березового леса.
Летний день в именьи шел, как обычно.
Брат крутится возле ломящих рожь лобогреек, две четверки лошадей с шумом волочат красные, машущие крыльями машины.
По двору в телятник проходит суровая старуха, моя чудесная няня Анна Григорьевна Булдакова; за свою жизнь где она только ни пострaнствовала, ходила апостольским хождением на Соловки, в Оптину пустынь, в Саров, к Троице-Сергию, в Киевскую лавру, обошла все святые русские места и дважды носила свою веру в Иерусалим. Но сейчас она в заботах о телятах, сепараторах, маслобойках.
В саду с садовником и подсадчиком меж яблонь ходит в легком платье мать, осматривает, удались ли весенние прививки; перед балконом цветут ее любимые чайные розы и пестротой цветов рябят клумбы и рабатки.
В кузнице равномерно ударяет молот кузнеца нижегородца Павла. На каурой кобыле, нахрячив воз сена до небес, с тихим скрипом везет его к конюшне старик Антон, бродяга и запойный пьяница. С почты на беговых дрожках въезжает в усадьбу Степка, с отторбучившейся от журналов и газет кожаной сумкой.
А в розоватых сумерках, когда малиновой тарелкой солнце закатывается за наш березовый лес и небо начинает медлительно гаснуть, на потемневший луг, крыть кобылу, конюха выводят на длинных розвязях звонко ржущего, белого, почти голубого, взвивающегося на дыбы жеребца.
Вечером в людской рябая стряпка Степанида тащит на стол дымящиеся щи. А из нашего дома вырывается «rondo» Моцарта «alla turca», это, зажегши у пианино свечи, играет мать.
Но деревенская ночь падает быстро, и скоро жизнь на усадьбе затихает. Усадьба спит, охраняемая лаем десятка собак; а вдалеке, за черным горизонтом, полыхают еле видимые зарницы.

РАССКАЗЫ ЕВЛАШЕВСКОГО МУЖИКА

В воскресенье могут приехать гости, соседи: Марья Владимировна Лукина с дочерью или Никита Федорович Сбитнев. Лукина, по-мужичьи Лукиньша, басистая глухая старуха-помещица с мужским лицом и заметными усами на верхней полной губе. Она родилась, выросла, прожила всю жизнь в соседнем Евлашеве; уже давно хозяйство ползет из рук старухи, родовое гнездо разваливается, но ничего изменить не хочет нравная барыня, живет так, как жили деды и прадеды. Однажды маклаку, приехавшему покупать телок, с крыльца так и отрезала низким басом.
- Телок продаю, да тебе дураку не продам, потому что стоишь передо мной в шапке.
- Да что вы, барыня, Богородица что ль, чтоб перед вами без шапки-то стоять? - засмеялся маклак и отругиваясь поехал со двора умирающей дворянской усадьбы.
Никита Федорович Сбитнев, это - другое. Это евлашевский мужик, глава богатой неделеной семьи. В воскресенье он приходит попить чайку. В черном полуперденчике-полуподдевочке, остриженный по-крестьянски в кружала, с пегой рыже-седой бородой, Никита Федорович, на седьмом десятке занимается уж только пчельником, хоть старик еще кряжист. Он захватит обязательно рамку меду и за чаем, пия его до седьмого поту, не внакладку, а вприкуску, рассказывает, какой у него в этом

году первый гречишный взяток, как работают его «пчелки». Часто он начинает вспоминать старину, об окружных помещиках, о том, что уцелело в памяти еще от рассказов деда. Помню, как одно такое воспоминанье Никита Федорович рассказал с сурово потемневшим лицом: будто его крепостной бабке барин Лукин, дед Марии Владимировны, приказал попробовать выкормить грудями кутят от околевшей любимой лягавой собаки.

- До того, значит, эту свою суку барин любил, - сказал помрачнев, неловко закашлявшись Никита Федорович. - Да-с, покорно благодарю, чаек-то у вас нечто императорское! Не чай, а бархат! - и Никита Федорович перевертывает чашку вверх дном, кладя на нее оставшийся обкусок сахару. - Лукиньша-то вот еще держится, а многие тут вовсе попропадали от разных своих дворянских фантазиев, - поглаживая иконописной рукой пегую бороду, говорит Никита Федорович, - вот Алехин, Олферьевы, опять же Новохацкие.

И словоохотливый старик вкусно рассказывает, кто и как из помещиков пропадал, как прожигали, прокучивали поместья, кой-у-кого Никита Федорович и землю купил. Соседнее Смольково помещик Новохацкий промотал на смольковских же девок. В богатом Лопатине отставной ротмистр Олферьев, с привезенной из Парижа француженкой, фейерверками и кутежами до тех пор удивлял весь уезд, пока именье не пошло с торгов, а барина не вывезли на единственном оставшемся ему шарабане. На торгах, глядя на распродажу своего добра, Олферьев лежал на диване и когда торг дошел до бархатной подушки под его головой, ее за рубль купил саранский прасол Постнов и подойдя к Олферьеву проговорил: «Подушка-то нам без надобности, только вот из-под барина-то ее вытащить!». И вытащил ее из-под Олферьева. Теперь от олферьевской усадьбы остались только развалины дома в сорок комнат, заросли жасмина, сирени, да кусок недорубленного еще липового парка.

МОЕ СЧАСТЬЕ

К вечеру, порасспросив о газетных новостях, о том, что «слыхать в столицах», Никита Федорович уходит домой, опираясь на вишневый подожок. А я седлаю белоногую кобылу и еду вглубь притихших ржаных полей по меже, заросшей повиликой, кашкой, медком. Воздух сух с запахом полыни. В ржаном пространстве перекликаются перепела.Вот она передо мной хлебная, полевая Россия и в ее тишине мне хорошо оттого, что в поскрипывающем седле я дома, это мое счастье, моя страна, ей я и буду служить. Едучи верхом я пою отрывки стихов Пушкина, Некрасова, Алексея Толстого; дав кобыле шенкеля, пускаю ее в карьер и слушаю, как южжит в ушах ветер и как дробно ударяются по земле подковы.

И здесь же, в полях, несколько позже, - теперь это очень трудно представить - меня измучивала христианская философия Толстого. Согласно с Толстым я чувствовал, что живу грешно и стыдно, что вся окружающая жизнь с поваром, прислугами, тройками, отдыхающими бездельными родственниками, дурна и во зле. Как русский мальчик, я был душевно бескраен, а напор Толстого был так силен, что помещичья жизнь стала оборачиваться во мне душевным стыдом. На глупого работника, бродягу Антона, на вороватого кучера Андрея я глядел с завистью, только потому, что они «живут трудами своих рук». И я помню ночь, когда я, помещичий мальчик, плакал, не зная, что же мне делать и как мне выйти из этой дурной нетрудовой жизни? Ночью я решал бросить именье, ученье, семью и ехать в Ясную Поляну к Толстому, чтобы он указал как же мне жить? По зеленой юности я думал, что у Толстого это знанье есть.

Трудно мне было вырваться от Толстого, но произошло это как-то помимо моей воли, когда на закате я лежал в березовом лесу и вдруг исключительно остро почувствовал всю непередаваемую прелесть и этого леса, и этого закатного вечера, и, подумав о Толстом, я вдруг понял, куда манит меня этот богатырский старик. От любимых полей, лесов, от верховых лошадей, от ярмарок, песен, плясок, от деревенских прегрешений любви, от музыки, от всей России, мне ощутилось, что Толстой манил меня только к смерти. И тогда, в лесу, я внутренне оттолкнулся от него; слишком сильно я любил эту нашу цветущую землю.

На балконе помещичьего дома в селе Конопать мать писателя, Вышеславцева Ольга Сергеевна (Гуль), и няня, Анна Григорьевна Булдакова.

«...моя чудесная няня Анна Григорьевна Булдакова; за свою жизнь где она только ни пострaнствовала, ходила апостольским хождением на Соловки, в Оптину пустынь, в Саров, к Троице-Сергию, в Киевскую лавру, обошла все святые русские места и дважды носила свою веру в Иерусалим. Но сейчас она в заботах о телятах, сепараторах, маслобойках».

Имение семьи Гуль в Саранском уезде. Село Конопать, начало XX века.
В окрестностях имения находился винокуренный завод, и для снабжения его водой были сооружены четыре пруда с водоотводными канавами. Первый пруд имел специально выложенный из камней так называемый замок, исключающий вредную фильтрацию вод.
Второй – банный, дно которого также было выложено камнем, который собирался крепостными крестьянами с окрестных полей. Кстати, пруды сохранились до наших дней.

(Продолжение следует).